

## «Новые рассказы о необычайном»

### (Фрагмент)

Надо сказать, что тогда, в девяностых, гламурных девочек не существовало. Таких, какие ходят сегодня — будто покрытые пленкой, сахарной глазурью, искусственно-изломанные, с разноцветными ногтями и всегда с вечерним макияжем. Вот не было этого мира нарочитой чувственности, скованной раскованности и скуки; мира растянутых гласных и выверенной вульгарности. Встречались, однако, в «Мизингерах» исключения — как бы «гости из будущего». И девочка Бимбо была такой.

Это физик назвал ее «Бимбо». «Барби?» — переспрашивали мы. «Нет, Бимбо», — настаивал физик: есть в английском такое слово, обозначает изнеженных бунтарок, блондинок не без вызова. И наша Бимбо была такой.

Она носила темные очки на пол-лица и дерзила учителям. Она пришла как раз в тот класс, где были невзрачные девочки и гоповатые мальчики. Бимбо мелко видела их всех.

И единственным человеком, с которым она соизволила общаться, стала Лариса-Альбина!

Они начали ходить вместе, прямо как подруги. Бимбо говорила, а Лариса Викторовна слушала. Литераторша язвила, что Бимбо в силу личностных особенностей — своей глупости! — не чувствует нехорошего ветра, что сопровождает географичку.

Было и другое объяснение: Лариса Викторовна была единственной, кто покорно выслушивал Бимбины разглагольствования. Остальные знали их наперед.

Бимбо почему-то обожала объяснять взрослым, что до сегодняшнего дня их жизнь была не жизнь, а так — неизвестно что. «У вас не было ни магазинов, ни свободы, ни поездок за рубеж, — хлопая накладными ресницами, простодушно заявляла она. — А ваши любимые фильмы про «иронию судьбы» смотреть невозможно. Вот эта душевность... фи!». Мы все это слышали по сто раз — а теперь пришла очередь Ларисы.

Ну, и мы — полушутя, полусерьезно — предложили географичке: что, если взять белиберду девочки Бимбо — не отыщется ли там поэзии? Стихотворных строчек?

Вы не поверите. Даже если это была Альбина, вернувшаяся *оттуда*, — мы сейчас были сильнее ее. По крайней мере, не слабее. Равны. Она включилась в нашу игру! Нашла поэзию там, где мы ей сказали!

Это произошло в субботу, после уроков.

— Я не знаю, насколько это стихотворение, — глядя куда-то бесцветными глазами, держа в руках кружку такой же бесцветной жидкости, начала Лариса. — Вчера Емельянова рассказала мне про свою тетю. Тетя у нее была обычная — вот только всю жизнь мечтала съездить в Париж. Как, впрочем, многие. И всю жизнь тетя изучала тоненькую советскую брошюрку про этот город. Собственно говоря, монолог «Бимбо», как вы называете Емельянову, — он про эту самую брошюрку. И про Париж, который девочка только что посетила. Наверное, это и есть стихи. Попробую разбить по строчкам.

*Ужасно жалко тетку.  
Господи, да она и не жила совсем!  
Учила по книжке, как попасть из квартала Маре на остров Сите.  
Обернула ее в папиросную бумагу,  
Чтоб не потрепалась.  
По-моему, книжка к концу аж усохла,  
Как и сама тетка.  
А я недавно была в этом самом Париже,  
На Елисейских Полях и в Латинском Квартале.  
Вот это и есть настоящее — а не убогая брошюрка!  
Негры, арабы, трансветиты на улицах,  
Проститутки, клошары на Новом Мосту.  
Это такие бомжи парижские: клошары.  
Гран-магазины напротив Опера -  
Принтемпис, Ле Бон Марше  
И, конечно же, самый лучший из них - Лафайет!  
Вот это и есть жизнь —  
А не так, как тетка.  
Вот это и есть Париж!*

Все.

Наступила тишина.

Мы вопросительно смотрели на Ларису. Мы почему-то сомневались, что она правильно понимает, что нужно делать на поэтическом вечере.

Наконец, физик не выдержал.

— У нас принято... объяснять стихотворение. Интерпретировать.

— Я знаю, — кротко ответила Лариса и посмотрела за окно; там сгущались сумерки.

— Может быть, завтра с утра? Я готова прийти специально.

Ба! Мы и забыли, что наша географичка — «дневная красавица». Что ж, завтра, так завтра. Мы попрощались с Ларисой и отправились в гости к Ренате.

И там у нас наконец-то получился полноценный этап коллективного обсуждения стиха. Который обычно бывал скомканный.

Рената открыла специально для нас какой-то французский ликер зеленого цвета, невообразимо крепкий — мы пили его малюсенькими глоточками. И говорили только об одном.

Мы говорили о Париже.

— Я вот не понимаю. Почему все уперлось в этот Париж? — тоненьким голоском вопрошала Леночка. — У маминых подруг Париж был как негласный пароль. Сразу неровно дышать начинали: «Город, в котором мы никогда не будем, налейте еще коньячку».... А папа скептически относился. Напевал: «Париж-Париж, тебе не снился сон подобный»... Слушайте, может, это чисто женская мечта? Фантазия эротическая?

— Ну почему женская, — отозвался физик. — Вот Высоцкий тоже пел: «Куда мне до нее, она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил!». Раз побывала в Париже — значит, недоступна, будь ты хоть трижды земная женщина. А Высоцкий был мужчина будьте-насте. Но Париж сильнее.

— А я помню другую песню: из детства, — мечтательно вздохнула литераторша. — Про самолет. Такая медленная, ночная. Там были строчки — точно не уверена:

*Самолет поднимается выше и выше,*

*Та-та-та-та моторы протяжно режут.*

*То ли это в Москве, то ли это в Париже,*

*Не имеет значения в данный момент...*

Меня, я помню, завораживало: и ночь, и самолет, и особенно «не имеет значения»... Конечно, я понимала, что имеет, что ни в какой Париж я никогда не попаду. Но это в жизни, а в песне, в самолете - «не имеет значения», все возможно!

И потом шли другие строчки; как мне тогда казалось, осуждающие:

*Кто-то с зеркальцем долго расстаться не может,*

*Собираясь кого-то сразить красотой»...*

И я, маленькая, представляла, что это прямо в самолете не может расстаться, какая-то женщина — быть может, я сама, но другая: взрослая, искушенная, порочная. Москва, Париж, все соединилось, и не имеет значения в данный момент!

— Ну, еще Пушкин писал: как представлю себе Парижские театры да бордели, так тошнит от Михайловского, — вспомнил математик. — Как-то так он писал, да.

— Наша, советская тоска по Парижу началась не с Пушкина, — возразил Митя. — Она началась после войны. После смерти Сталина, когда вынесли из хранилища французских импрессионистов. Ив Монтан к нам приехал...

— Для советских людей — сверхъестественный город, метафизический. Впрочем, вся заграница сверхъестественна, но Париж особенно. Самый развратный, самый утонченный, самый свободный; самый не наш — и одновременно как-то связанный с нами; чуть ли не свой, родной. Сияющая точка посреди окружающей тьмы, — подытожила Рената.

Мы расходились по домам, исполненные Парижем.

И на следующее утро, в воскресенье, собрались в школе.

---

Светило солнце; школа стояла чистая, тихая. Лариса пришла похожая на школу: вся прозрачная, с широко открытыми невидящими глазами — будто все еще спала. Только потом мы поняли, что она готовилась к истории; прислушивалась к чему-то внутри себя.

Мы сели в кабинете директора, вокруг стола. Помолчали. Лариса и вовсе закрыла глаза.

— А Вы сами были в Париже? — чтоб хоть как-то начать, спросил Митя.

— Была, — открыла глаза Лариса. — Но я хочу рассказать о другом. Вернее, о другой.

И неожиданно улыбнулась. Точнее, не улыбнулась, а — как сказали бы писатели, «подобие улыбки тронуло ее губы». Но этого оказалось достаточно, чтобы наши скептики засомневались: может, это и впрямь Альбина?

— Я не знаю, как звали тетку, — Лариса заговорила негромко, в абсолютной тишине.  
— А мою героиню звали Ирка; Ирка-дырка. И ничего особенного в ней, как и в тетке, не было.

Самое раннее, что Ирка о себе помнила — как она сидит на кровати, словно королева, и мама пристегивает ей к поясу чулочки; потому что самой не пристегнуть.

А в восемь лет она носила дурацкую шапочку и лиловые штаны с начесом, чтобы «ничего не застудить», и переживала, что штаны стыдно высовываются. На улицах боялась безногих калек на досках и замечала их издали. В школе не получала ни двоек, ни пятерок, кроме уроков рукоделия, где лихо пришивала пуговички к тряпочкам для всех девочек вокруг, не подозревая, что это ее судьба. После пятерок по рукоделию говорила маме (которая уже болела), что сошьет ей платье с «американской проймой», что бы это ни значило.

А когда у старших классов была подготовка к карнавалу, бегала-мешалась у них под ногами, надеясь, что тоже возьмут. И еще в ее классе был мальчик со смешной фамилией Бубенчиков, и он все ронял на пол — ластик, циркуль, промокашку — и пол-урока проводил под партой. Наверное, потому что он был такой смешной, Ирка придумала, что когда они вырастут, Бубенчиков влюбится в нее. Потому что взрослые мальчики должны обязательно влюбляться в девочек. Что положено всем — то случится и с ней.

И вот все это — лиловые штанишки с начесом, шапочка, из-за которой Ирку в очереди назвали мальчишкой, и она долго плакала, пуговички на тряпочках, карнавал, на который ее так и не позвали, смешной Бубенчиков, который в нее так и не влюбился, — все это было французским пиром. Французским застольем.

Это было сладким и густым луковым супом, где в центре плавает полупромокший, но все еще хрустящий кусочек булки; было жирной-прежирной печенью утки, которую много месяцев кормили зерном через трубочку и не давали двигаться; было обязательным «мсье» и «мадам» французских официантов — и застольным обсуждением, какой сорт вина пить: Бордо или Бургундию? Было предвкушением наслаждения; блаженства.

Но Ирка не знала об этом. И даже не подозревала.

Когда ей было девять лет, бабушка сводила ее в Филармонию, на концерт классической музыки. С тех пор Ирка всю жизнь ходила в Большой зал; она сидела на хорах, прямо над оркестром, ничего не понимала в музыке и в полузабытье смотрела на сверкающую люстру напротив.

Еще она ходила в Эрмитаж, где всегда поднималась на третий этаж — к импрессионистам. Там останавливалась перед картиной Писарро «Бульвар Монмартр в Париже», где художник изобразил нечеткий, расплывающийся, пульсирующий, волшебный город как бы с балкона, словно с птичьего полета. Так и Иришка стояла перед Парижем — на балконе, готовая в любую минуту птицей слететь вниз. Но не слетала.

Там, в Эрмитаже, она и купила эту тоненькую брошюрку, которую потом выучила наизусть. Про остров Сите и квартал Марэ.

А еще Ирка купила книжку «Музеи Парижа», где на обложке была картина Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт». На картине две девушки. Одна из них, стоящая, напряженно вглядывается в мужчин — в хищном поиске жениха, кавалера, кого-нибудь. А вторая сидит, словно в полудреме, в рассеянном ожидании счастья. Картина наполнена воздухом, солнечными бликами, пробивающимися сквозь листву акаций; все в беспорядке и немного танцует. И, конечно, Ирка была той, сидящей — в рассеянном ожидании счастья.

И не догадывалась, что вся ее «культурная жизнь» — солнечный, непарадный третий этаж Эрмитажа, строжистые бабки в Филармонии, брошюрки «по городам мира», где она никогда не будет, — это они и есть, заклепки и винты, железные кружева и невиданный изгиб сторон. Ее походы в музеи и на концерты — это она и есть, чудовищно тяжелая и невыносимо легкая пирамида: бессмысленное сооружение, никакая не телебашня — ведь, когда ее возводили, не было ни телевидения, ни радио. Это она и есть: символ города, творение Гюстава Эйфеля.

Нет, Иришка не знала об этом.

Первые месячные пришли к ней рано. Иришка не очень про них знала и подумала, что умирает. Но это была не смерть, это оказалась словно река — с приливами и отливами, движениями вверх и вниз; чередованиями чистоты и грязи. Женская причастность плоти, жизни, какой не знают мужчины. Со временем Иришка привыкла к этим волнам, которые были и ею, и отдельно от нее; со временем она научилась реке.

И вот судьбе ее выпало так, что эта река, эти воды жизни прошли сквозь нее, не задев ее. Ей не досталось ни поцелуя, ни прикосновения, ни ласки. Ни разу, ни на минуточку не почувствовала она того, что выпадает многим-многим женщинам: ни разу не почувствовала она себя красивой и желанной.

Она честно шла через все этапы — от мучительного беспокойства в шестнадцать лет, от неловких попыток общения с мальчиками тогда же, через презрительную враждебность и брезгливость к мужчинам в тридцать, через тихое отчаяние и равнодушие к своему, будто чужому, телу в сорок пять. А потом река высохла, и пришло неизбежное — вспышки раздражения и кровь в голове; и стали ломкими кости и сухой, как бы отдельной от мяса, кожа. А та девушка из Мулен-де-ла-Галетт все сидела и сидела в своем рассеянном ожидании счастья. Хотя давно уже шел дождь, и с картины сыпались краски, и близилась зима.

И, наверное, были какие-то конкретные причины такого глубокого страха перед тем, что происходит между женщиной и женщиной, такого неверия в себя. Причины, почему ни с кем не получилось. Может быть, жалость и боль за маму. Или отталкивание и желание быть непохожей на сестру. Или же просто дурная кожа и лицо, как у обезьянки, словно бы вжатое вовнутрь. И молчаливое согласие в семье, что старшая сестра — уродка. Конкретные причины... Они ведь не важны совсем. Потому что вся ее женская жизнь была светом. И Розой.

Да-да! Все то женское, что было в Иришке — начиная с детских фантазий про Бубенчикова и заканчивая желанием закопаться в тряпочках, стать ничем — было готической Розой над центральным входом в главный парижский собор. Было Галереей химер, куда можно пробраться по узкой витой лестнице.

Но даже больше, чем Нотр-Дам, ее женская жизнь была другим храмом. Маленькой капеллой, которую построил Людовик Девятый, вернувшийся из Иерусалима. Чтобы хранить там терновый венец. Сейчас посетители стоят в очереди на улице, входят в крипту под низкими сводами, покупают билеты, поднимаются извилистым ходом — и

вдруг оказываются в царстве света! Внутри Святой Капеллы, Сен-Шапель. Нет ни стен, ни сводов, ни опор — только витражи, только цветное сиянье! Тело лишается тяжести, становится пронизываемым, невесомым. *Преображается*. Ведь готика — это не стрельчатые арки, не высокие окна: это стремление изобразить неизобразимое, то, что можно увидеть «внутренним оком»: *da visibilibus ad invisibilia*, от видимого к невидимому — вот, что такое готика. И да, Иришкино затянувшееся ожидание счастья, бесполезные губы, груди, соски, так никогда и не приготившееся чрево, сухая, никем не целованная кожа — все это было светом: синим, красным, золотым.

Но Иришка этого не знала.

Она зарабатывала на жизнь шитьем. Сначала на «швейке», на швейной фабрике, где было невыносимо — грохот, пыль, время к концу смены как чугунное, девки ругаются матом, плюют под ноги и рассказывают удивительные вещи про себя и про парней. На «швейке», как потом вспоминалось, было веселее всего. Потом по благу устроилась в ателье — и сразу попала к женщинам-змеям, в клубок, где надо было просчитывать каждое движение, иначе укусят. В ателье стала замкнутой, злой — и научилась раскрою, перестала бояться резать ткань. К периоду районного «индпошива», как тогда называли ателье, относится Иришкино высшее достижение — платье с той самой «американской проймой». Его носила Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года». Платье подарила сестре; та никогда его на надевала. Из ателье — с опытом, клиентами и липовой (выписала сестра) справкой об инвалидности, чтоб не попасть под тунеядство, ушла в «домашку», в пошив на дому. Казалось — облегчение, счастье, свобода; а выяснилось, что наоборот: западня. Выяснилось, что отовсюду Ирка соскальзывала во что-то более узкое, тесное. Сначала - «швейка»: лихо, каторжно, весело. Потом чистое, опрятное ателье: умно, завистливо, недобро. И, наконец, каморка — тихо, спрятавшись, одна. Все теснее и теснее.

Иришка не стала известной модисткой в шестидесятые, упустила свой шанс. Не перешла на «фирму» в семидесятые — упустила второй. Не научилась кроить «клеш», затем - «бананы». Шанс за шансом. Зато стала невидимкой: государство перестало видеть ее. К концу Ирка совсем деградировала в своей норке — стала брать в ремонт нестиранные вещи, ей платили меньше за задержки. И «сарафанное радио» работало все хуже — может быть, из-за того, что Ирка припрятывала кусочки ткани. Да, вот такой был ее грех — не возвращала кружева, откладывала отрезки: на черный день. Придумывала, что она может из этих кусочков сшить.

И, конечно, все это — исколотые пальцы, сломанные иголки, боли в спине — было чем-то другим. И даже припрятанные кусочки, даже ее грех. Грех, быть может, был чем-то иным прежде всего.

Он был Булонским лесом.

Булонский лес! В центре Парижа, самый настоящий — с буреломом, чащей. Когда-то здесь охотились короли, скрывались разбойники. А сейчас — днем — лес игрушечный, обманчиво-невинный: юные парижанки скачут на лошадках, семьи расселись на пикники с корзинами. Багеты, бутылка вина, сыр. Лодочные катания, миниатюрный замок.

Что же примечательного в Булонском лесу?

Он не то, чем кажется. Это ведь тот самый лес, где Красная Шапочка встретила Серого Волка.

Он преобразается с наступлением ночи. «Едва луна сменит солнце», как говорят французы.

Там оживают ночные существа. За острыми ощущениями сюда приходят либертэнки в плащах на голое тело — отдаваться десяткам мужчин в свете автомобильных фар. Приходят пары, желающие продемонстрировать свое искусство на публике; приходят престарелые кокетки в поисках последних приключений, приходят экзотические бабочки из Африки и Америки, приходят удивительные существа — не мужчины и не женщины. Булонский лес — то, за чем всегда ехали в Париж: опасное, раскованное место. Ночной праздник любви.

И вот вся Иришкина трудовая жизнь — струящаяся ткань под пальцами, нитки крепкие и нитки гнилые, припрятанные кусочки — была этой тайной достопримечательностью: заповедным Парижским лесом.

Но Иришка об этом не знала.

Она заставляла себя выходить из дома. Каждый месяц — в Филармонию или в Эрмитаж; в этот день ничего не шила. Доверяла только трамваям, в метро под землю не спускалась. До центра ездила на трамвае двойка. Придя на остановку, декламировала: «Эх, двойка, птица-двойка! И кто тебя выдумал?» - потому что двойка ходила очень редко и была самым медленным трамваем в Ленинграде. Впереди у двойки были огоньки, синий и красный — их было видно издалека. Трамвай шел немислимым маршрутом, кружил — мимо Петропавловки, мимо Летнего сада. Когда двойка приходила быстро, это считалось к удаче. Например, Иришке повезет, и она откроет собственное ателье.

И позже, когда Филармония закончилась, она выгоняла себя из дому каждый день, как бы ни болели спина и ноги. Ходила по дворам. Во дворах Иришка особенно боялась машин; она никак не могла уразуметь, почему машины ездят там, где ходят люди? «По головам! По головам!» - Иришка вздрагивала и трясла головой.

Из еды она любила творог и сметану. Ходила в дальний гастроном, куда молочные продукты привозили напрямую из совхоза. По пути в гастроном надо было обогнуть вонючую помойку; к старости Иришка стала обостренно чувствовать запахи.

Если в день похода творог завезли — это тоже было к удаче. И, конечно, Иришка не знала, что удача уже произошла; происходила. Что все, кого и что она встречала на улице — рассыхающиеся трамваи, наглые машины во дворах, даже пьяницы, даже помойка — все они были француженками.

Да-да, настоящими парижанками. Теми, что, выходя на улицу, наносят на ресницы капельку туши — и ничего более! Парижанками, которые на вопрос по-английски отвечают иностранцу по-французски, тщательно выговаривая буквы с аксантиэю и аксантиграв. Потому что, если тщательно все произнести, иностранец поймет. Парижанками, которые покупают в буланжери длиннющие батоны — *багеты* — и размахивают ими на улицах при спорах. И бьют ими — бац! — в качестве аргумента по фонарям. Настоящими француженками — теми, что не моются перед свиданием два дня, чтобы к коже, к телу вернулся естественный запах. Да! В неуверенных, шаркающих шагах, посреди липких, цепляющихся, вонючих вещей — глубоко, внутри-внутри-внутри — скрывалось то неуловимое, что называется Парижским шиком. Но Иришка об этом не знала.

Она упала в ванной; поскользнулась. По пронзительной боли внизу как-то сразу поняла, что случилось: шейка бедра, как у многих. «Вот и все, - подумала Иришка, - вот я и проиграла».

Хотя непонятно, что она собиралась на тот момент выигрывать.

Все изменилось. Теперь к ней раз в день приходила сестра — переворачивать, давать еду и питье. Остальное время Иришка лежала одна, баюкая боль. Та, кстати, со временем ослабела. Но иллюзий не было: это начало конца, можно подводить итоги.

И итоги были нехороши. Главное, не было никаких «зато». «Зато у нее была любовь, страсть». Не было никакой любви. «Зато родился Петенька или Нюточка». Никто не родился.

Не было даже любимых клиентов, которых она как-то по-особому одаривала.

Не было даже того, что бывает у старых дев — кошечки, собачки.

Не одевала бесплатно всех родственников.

Не шила ажурные трусы для любимой племянницы.

Ровная, долгая, никакая жизнь. Только не горестная, нет: не надо сюда этого слова — «страдание». Просто пустая. Напрасная. Бессмысленная. И вот сейчас она подходила к концу — в пролежнях, запахах, ускользающем взгляде сестры.

И, конечно, они тоже были чем-то иным — ее последние дни. Они были Люксембургским садом, где всегда светит неяркое солнце. Где дети и взрослые пускают в пруду кораблики, а девушки пододвигают к одной скамейке другую, чтобы можно было положить ноги, откинуться и ловить носиком солнечные лучи. И где неслышно, тихо-тихо поет Джо Дассен: «Здесь бегают дети и падают листья, здесь студенты мечтают»...

Но Ирка не знала об этом.

А может быть, уже немножко знала. Может быть, знание как бы просвечивало сквозь незнание. Может быть.

Но сознание плыло, туманилось, в нем вертелись какие-то мусорные мысли. Например, что делать с отрезами? Что станет с накопленными кусочками, пуговичками, кружевом, бахромой? Может быть, отдать сестре? Или удастся еще пошить — для кукол, для неизвестно каких детей? Мысль отлетала, возвращалась, кружилась — хотя где-то там, в глубоком и темном месте, Иришка знала: не пригодятся эти кусочки, никому, совсем.

И с самого начала, с походов с мамой в магазин, мимо страшных инвалидов на досках — ее жизнь была чем-то иным. Ее рабочий путь — от невыносимой «швейки», через умное недоброе ателье, в каморку и одиночество. Именно путь: шаги, шаги, шаги. Ее честно пройденная женская дорога — из месяца в месяц, из месяца в месяц. Ее путь в Филармонию, на дребезжащей «двойке» — именно благодаря нелепому, долгому маршруту. Наконец, последние походы в туалет, когда Иришка все еще пыталась писать и какать, как все люди, а не под себя. Это ведь и был тот самый город. Где каменная на ощупь булка невыразимо мягка внутри. Где в центре лучшего и самого строгого в мире музея тебя ждет улыбка, смысла которой ты не знаешь. Улыбка, от которой невозможно оторваться. Это и был город, прекрасней которого нет на свете. Это и был —

Тут Лариса запнулась, и мы подумали, что она соблюдает правила не называть последнее слово. Но она подняла голову и спокойно закончила: «Это и был Париж». И, честное слово, в эту минуту даже самые скептически настроенные подумали: «Она Альбина, вернувшаяся *оттуда*». А она продолжала:

«Всю свою жизнь — быть может, за исключением последних дней — Иришка не знала об этом. А вы теперь знаете».



На этом рассказчица замолчала. Мы посидели в тишине и стали расходиться.